

Библиотека Классической Литературы

АНТОН ЧЕХОВ

Дама с собачкой
Повести и рассказы

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Ч-56

Серия «Библиотека всемирной литературы»
Оформление *Н. Ярусовой*
В оформлении суперобложки использованы фрагменты
работ художников Альфреда Стивенса, Василия Поленова
и Осипа Браза

Чехов, Антон Павлович.
Ч-56 Дама с собачкой. Повести и рассказы / Антон Чехов. —
Москва : Эксмо, 2023. — 656 с.

ISBN 978-5-699-41810-7 (Библиотека всемирной литературы)

Литературное наследие русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова — он же Антоша, он же Человек без селезенки, он же Брат моего брата, он же Антоша Чехонте — составляет более 30 томов. А.П. Чехов за всю свою творческую жизнь не написал ни одного романа, он — признанный мастер «короткой прозы», но каждый его рассказ — это вся человеческая жизнь в ее трагикомической полноте. Стиль А.П. Чехова — отточенный и филигранный, язык прост и лаконичен. Л.Н. Толстой, хваля рассказы Чехова, говорил, что у него каждая деталь «либо нужна, либо прекрасна».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-699-41810-7 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Содержание

И. А. Бунин
О Чехове

9

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РАЗМАЗНЯ

23

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

25

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

27

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

29

ХИРУРГИЯ

30

ХАМЕЛЕОН

34

УСТРИЦЫ

37

РЕПЕТИТОР

41

5

ПЕВЧИЕ

44

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

48

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

52

ПЕРЕСОЛИЛ

56

ТОСКА

60

ВАНЬКА

65

КАШТАНКА

69

МАЛЬЧИКИ

89

СТЕПЬ

95

ГУСЕВ

187

ДУЭЛЬ

200

ПОПРЫГУНЬЯ

304

6

ПАЛАТА № 6

328

РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

382

ЧЕРНЫЙ МОНАХ

458

СТУДЕНТ

489

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

492

АННА НА ШЕЕ

516

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

528

МУЖИКИ

546

ИОНЫЧ

576

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

594

КРЫЖОВНИК

607

О ЛЮБВИ

617

7

ДУШЕЧКА

626

ДАМА С СОБАЧКОЙ

638

О ЧЕХОВЕ

* * *

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня однажды.

Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.

— Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец...

После таких мимолетных встреч и случайных разговоров, в которых были затронуты любимые темы Чехова — о том, что надо работать «не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым, — мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил Чехова на набережной.

— Почему не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изредка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон. А то плохо работается.

Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенсне и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью? Но — Чехов и манерность! Поставить рядом эти два слова могут только те, которые не имеют никакого понятия о Чехове. «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да, он любил только искреннее, органическое, — если только оно не было грубо и косно, — и положительно не выносил фразеров, книжников и фарисеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также никогда не носился со своим «я», очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «я люблю то-то»... «я не выношу того-то»... это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое»... Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдер-

жанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только с к а з ы в а л а с ь.

Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела» — хотя несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саду»... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех не чутких

и не умных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности, — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей, — руководство для сельских хозяев», — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности: все, кто знал его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собою. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой природы, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.

В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, — принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике по-прежнему сквозило присущее ему изящество, — однако это было изящество уже не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного

пережитым человека. И голос его звучал уже мягче... Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо... На другое утро, после встречи на набережной, я поехал к нему на дачу. Ясно помню это веселое солнечное утро, которое мы провели с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное им, «Зайцы и китайцы, басня для детей». И с тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение ко мне Чехова. Оно стало оживленнее, сердечнее... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми самыми близкими ему, и означала она, как я убедился потом, не равнодушие, а нечто гораздо большее.

Белая каменная дача в Аутке, под южным солнцем и синим небом; ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил Чехов, всегда любивший цветы, деревья и животных; его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину реки Учан-Су и синий треугольник моря; те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил в этой даче, и то сознание близости к человеку, который пленял меня не только своим умом и талантом, но даже своим суровым голосом и своей детской улыбкой, — останутся навсегда одним из самых лучших воспоминаний моей жизни. Был и он настроен ко мне дружески, иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые задушевные минуты наших разговоров. И она была во всем.

Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное; сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на

них; но каким тонким комизмом вызывал он неукротимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне... А его письма! Сколько милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь...» (25 марта 1901 года). «Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком... Желаю вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский мещанин» (30 июня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многом другом, более важном, свидетельствуя о редкой силе его натуры. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того, что за гроши, но еще и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого сидела не только вся семья, но еще несколько человек гостей-студентов. Он долго нуждался и потом... Но никто и никогда не слышал от него сетований на судьбу, и это вытекало не из скрытности его характера и не из ограниченности его потребностей: будучи на редкость благородно-скромным в своем образе жизни, он в то же время прямотаки ненавидел серую, скудную жизнь... Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью, которая неуклонно вела его к смерти; но знал ли это читатель — русский читатель, который слышал столько горьких писательских воплей? Больные любят свое привилегированное положение: часто самые сильные из них почти с наслаждением терзают окружающих злыми, горькими, непрерывными разговорами о своей болезни; но поистине было изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов! Даже в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.

— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного.

Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературе были совсем не похожи на те обычные профессиональные разговоры, которые так неприятны своею кружковой узостью, мелочностью своих чисто практических и чаще всего — личных интересов. Будучи прежде всего литератором, Чехов, однако, настолько резко отличался от большинства пишущих, что к нему даже не шло слово «литератор», как не идет оно, например, к Толстому. И поэтому разговоры о литературе Чехов заводил только тогда, когда знал, что его собеседник любит в литературе прежде всего искусство, бескорыстное и свободное.

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания, — говорил он нередко. — А главное, никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мопассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал.

Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не примешивал он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях. Но он действительно радовался от всего

сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же успехам и неудачам он относился так, как мог относиться только он один.

Он работал почти 25 лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж... подрисовал коровку, гусей или женскую фигуру! И, конечно, не сладко было Чехову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только с к а з ы в а л а с ь.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахиною!

И чаще всего на разговоры о его славе и о том, что о нем пишут, он отвечал именно так — двумя-тремя словами или шуткой.

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь, знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик про-

рочил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал. Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, больше чеховских?

Чтобы эта сложная и глубокая душа стала ясна, нужно, чтобы какой-нибудь очень большой и очень разносторонний человек написал книгу жизни и творчества этого «несравненного», по выражению Толстого, художника. Я же всей душой свидетельствую пока одно: это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости.

Быть правдивым и естественным, оставаясь в то же время пленительным, — это значит быть необыкновенной по красоте, цельности и силе натурой. И так часто говорил я здесь о спокойствии Чехова именно потому, что его спокойствие кажется мне свидетельствующим о редкой силе его натуры. Оно, я думаю, не покидало его даже в дни самого яркого расцвета его жизнерадостности, и, может быть, именно оно дало ему в молодости возможность не склониться ни перед чьим влиянием и начать работать так беспритязательно и в то же время так смело, «без всяких контрактов с своей совестью» и с таким неподражаемым мастерством.

Помните слова старого профессора в «Скучной истории»? —

«Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как рус-

ские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы...»

И вот этим-то чувством личной свободы и отличался Чехов, не терпевший, чтобы и других лишали ее, и становившийся даже резким и прямолинейным, когда видел, что на нее посягали.

Как известно, эта «свобода» не прошла ему даром, но Чехов был не из тех, у которых две души: одна — для себя, другая — для публики. Успех, который он имел, очень долго, до смешного, не соответствовал его заслугам. Но сделал ли он за всю жизнь хоть малейшее усилие для того, чтобы увеличить свою популярность? Он буквально с болью и отвращением смотрел на все те приемы, какие нередко пускаются теперь в ход для приобретения успеха.

— А вы думаете, что они — писатели! Они — извозчики! — говорил он с горечью.

И его нежелание выставлять себя на вид доходило порой до крайностей.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги «Северных цветов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Это было зимой 1900 г., когда Чехов, заинтересовавшись кое-какими черточками в деятельности только что организованного тогда издательства «Скорпион», дал, по моему настоянию, в альманах этого книгоиздательства один из своих юношеских рассказов: «В море». Впоследствии он не раз раскаивался в этом.

— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение и скус т е в н ы х минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

А его сдержанность проистекала из великого аристократизма его духа и из его неустанного стремления быть точным в каждом своем слове. Придет время, когда поймут как следует и то, что это был не только «несравненный» художник, не только изумительный мастер слова, но и несравненный поэт... Только когда придет оно? Еще не скоро

разгадают во всей полноте его тонкую и целомудренную поэзию, его силу и нежность.

«Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! — писал он мне в Ниццу. — С Новым годом, с новым счастьем! Письмо ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, не думайте о болезнях и пишите почаще вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурных северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую вас и обнимаю. Ваш А. Чехов» (8 янв. 1904 г.).

«Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю...» Такие слова я слышал от него редко. Очень часто я скорее чувствовал, что он должен произнести их, и это были минуты, в которые мне было очень больно.

Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону. Подхожу и слышу бас Чехова: — Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? — удивился я. — Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час... И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человек, не рассуждать-с!

Через десять минут я был уже в Аутке. В доме, где зимой Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота, — только из комнаты Евгении Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свет, да тускло горели две свечечки в кабинете, теряясь в полумраке. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров, полных, может быть, горьких дум о судьбе, так одарившей его и так посмеявшейся над ним.

— Какая ночь! — сказал он мне с необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня на пороге кабинета. — А дома — такая — скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спро-

сит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Ореанду. Простужусь — наплевать!

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками, с редкими лучистыми звездами в голубом глубоком небе. Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес с легкими узорами теней, похожими на паутину, но уже по-весеннему нежный, красивый и задумчивый. Потом зачернели толпы кипарисов, возносившихся к лучистым звездам. И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну семь с половиной.

— Нет, — сказал я. — Поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее.

Он ничего не ответил, но когда мы сели где-то на скамью, с которой снова открылся вид на блестящее в месячном свете море, он скинул пенсне и, поглядев на меня добрыми и усталыми глазами, сказал:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!».

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шуточно покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны от того, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам.

На этот раз он ошибся: он прожил меньше.

Умер он спокойно, без страданий, среди тишины и красоты летнего рассвета, который так любил всегда. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице...».